

Пламенеющий воздух

БОРИС
ЕВСЕЕВ

ЛАУРЕАТ БУНИНСКОЙ ПРЕМИИ
И ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ФИНАЛИСТ «БОЛЬШОЙ КНИГИ»,
«РУССКОГО БУКЕРА», «ЯСНОЙ
ПОЛЯНЫ»

 LiveLib
www.livelib.ru

РОМАН

Самое время!

Борис Евсеев

Пламенеющий воздух

«WebKniga»

2013

Евсеев Б. Т.

Пламенеющий воздух / Б. Т. Евсеев — «WebKniga»,
2013 — (Самое время!)

Борис Евсеев находит такие темы и таких героев, что соперников в их описании и разработке у него чаще всего нет — это художественные открытия. Их нельзя не заметить. И потому Евсеев — лауреат Бунинской и Горьковской премий, премии правительства России за 2012 год, финалист «Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны»... Вот и роман «Пламенеющий воздух» — это не просто лирический гротеск и психологическая драма, но и единственное литературное произведение, посвященное загадке эфирного ветра. Казалось бы, представления о нем сохранились лишь в учебниках физики позапрошлого века. Но нет: группа современных ученых с помощью новейших экспериментов пытается вернуться к разгадке этой «пятой сущности» материального мира. И становится ясно: в XXI веке мы не можем больше сбрасывать со счетов запретные или признанные «неудобными» темы и альтернативные формы знания.

Содержание

КАК НАЧИНАЛОСЬ	5
Часть 1 РУССКИЙ БУНТ	7
На обочине	7
Что было	10
Савва Урываи Алтынник	15
«Музей овцы»	19
Вторая Овражья	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Пламенеющий воздух

Борис Евсеев

История одной метаморфозы

КАК НАЧИНАЛОСЬ

Ниточка Жихарева, Савва Лукич Куроцап, засушенный австрияк Дроссель и даже сама мадам Бузлова не раз и не два просили меня рассказать эту историю.

Раньше бы я ни за что на такое дело не отважился.

Я – пачкун и марака, жалкий литературный негр я! И всякие там замысловатые истории мне не по плечу. Однако обстоятельства жизни все-таки заставляют меня о том, что произошло, рассказать.

Дело тут вот в чем.

Сейчас – пять утра. Ровно через три дня и почти в то же самое время я должен буду принять важнейшее в своей жизни решение. Меня ждет «великий переход», обещанный одним из участников всей этой заварушки.

Участник этот что-либо рассказывать меня, конечно, не просил. Он-то как раз хотел бы все оставить в тайне! Он, но не я.

Поэтому, откинув колебания, я просьбу новых своих знакомых выполняю. И постараюсь за оставшиеся до «перехода» семьдесят два часа рассказать, как все оно и было.

Разве добавив к собственным заметкам с десятков информашек местного радио, валяющихся у меня на столе в виде распечаток. Плюс кое-что из записей, считанных со спецтехники, которой пользовался еще один из фигурантов всей цепи этих странных, с чудинкой и «с присвистом», происшествий.

А начиналось так...

Старая ветряная мельница, дрогнув напоследок изломанными, просвечивающими насквозь крыльями, вдруг заглохла, остановилась. Наблюдавший за ней через монитор человек в армейском ватнике тут же принял решение развалюху эту чинить.

Однако добраться до мельницы, стоявшей метрах в трехстах от впадения Рыкуши в Волгу, смог на легкой своей дюральке только к вечеру.

Водяной насос «Ромашка» производства 1987 года еще тихонько урчал, а вот допотопная мельница-толчея как утром встала, так и стояла. Исправно работал только расположенный метрах в пятидесяти от нее трехлопастный голландский ветрогенератор на длинной железной ноге.

«Насос – к черту! Мельницу – для хозяйственных нужд... Вместо нее – еще один ветрогенератор. И как раз тут: у впадения Рыкуши в Волгу! Но это все – на той неделе. Сегодня – сил моих больше нет...»

Блеснуло заходящее солнце. Лодка подошла к самому урезу воды.

Запах сладко-умирающей гнили, смешанный с запахом грозового озона, вдруг пробил человеку обе ноздри сразу.

«Сентябрь, все отцвело, кувшинки и лилии сгнили, отсюда, наверно, и запах...»

Человек наклонился зачерпнуть воды из Рыкуши, но внезапно тело свое в наклоне задержал: при заходящем солнце и легчайшей волне собственного отражения он не увидел.

Бок лодки – тот отражался. Навесной мотор – тоже.

Человек поплескал себя ладошкой по щекам и склонился к воде ниже.

Отражения не было.

Тут он вдруг что-то вспомнил, стукнул себя кулаком по лбу, полез в карман за мобилкой:

– Не утерпел, Столбец? Врубил, я спрашиваю, программу?

– Ага! Уже минут десять как фурычит, – растянул рот во всю экранную ширь умный Столбец. – Короче: ты меня видишь – я тебя нет!

– Вот мы и замаскировались, – устало сказал человек в ватнике. – Ладно, вырубай свою программу. Рано еще. Смотри: облака грозовые собрались! Как бы опять смерча не было...

– Облака – кучево-дождевые. Вижу их хорошо. А смерч... Если и будет, то слабый, биче-подобный.

– Все, Столбов, хватит болтать. Как бы меня тут, к чертям свинячьим, не потопило. Отключайся мигом!

– Сейчас, – заторопился четко видимый на экране мобилки Столбов, – еще минуту тобой, прозраченьким, полюбуюсь. Облака, они еще во-он где...

Человек в ватнике, одной рукой продолжая держать перед собой мобилку, другой крутанул ручку навесного мотора, развернул лодку и быстро по узкой Рыкуше выскочил к Волге. Тут он мотор заглушил и глаза закрыл. Просто чтобы отдохнуть от красок вечеряющего дня...

Неожиданный порыв ветра вырвал из рук человека, не отражавшегося в воде, мобилку.

– Ну Столбец, ну остолопина!

В ту же секунду мощный воздушный вихрь неудачно, боком к волне вставшую лодку – перевернул вверх дном.

Крупные брызги и мелкий водяной сор закрыли видимость напрочь, зеленые водоросли густо залепили человеку уши, глаза, рот...

Часть 1 РУССКИЙ БУНТ

На обочине

Бр-р-р...

Рань несусветная. Двадцать минут седьмого – а я уже на ветру, в сквере. Где буду в семь – сам черт не скажет!

Черт с копытами занес меня в эту дыру! Черт с копытами, или злой дух, или ненавистник рода человеческого – у нас его уклончиво называют случай – за пять дней измордовал так, что я теперь, как тот газетный пасквилянт, с дрожью и стоном припадаю к любому клочку бумаги, лишь бы освободить себя от накопившейся злости.

Конечно, мой новый работодатель (о нем позже) ничего из того, что я сейчас чувствую, запоминать или записывать меня не просил. А прежний хозяин (по имени Рогволденко, по прозвищу Сивкин-Буркин), у которого я вкалывал литературным негром и за которого три года подряд сочинял романы и повести – тот за такие записи наверняка бы все зубы пересчитал.

Но сейчас я ничего не пишу и по клавишам бодро не стучаю. Просто пытаюсь свести концы с концами и освободиться от надоедливых мыслей.

Утро едва только занимается. Ветерок теребит волосы. Острый волжский холод ползет за шиворот. Вокруг – осень, рваные облака, птичий помет и другие очарования жизни.

Нужно вставать, нужно идти. Но идти мне некуда.

Двадцать минут назад меня турнули из гостиницы. Грубо турнули и бесповоротно. Правда, вещички на час-другой оставить разрешили. Даже не столько разрешили, сколько горячо попросили оставить их.

Тима я, Тима! Тима, Тима я. Эх!..

Я сижу на узкой скамейке и по временам – от икоты и гнева – вздрагиваю. Слева – деревянный сарай без вывески: бывшая моя гостиница. Справа – скучноватое пространство сквера. В сквере – ни путан праведных, ни пьянчуг велеречивых. Только воробьи и кусты. Мило, но не греет.

От волжского царапающего холода в голову лезут глупости.

И первая из них такая: хуже меня нет! Вот как я сейчас о себе думаю. И, конечно, тут же начинаю осматривать свои руки-ноги.

Руки слишком худые, ноги – в замшевых зеленых туфлях и явно длинней, чем нужно. А остальное?

По бокам муниципальной скамейки – тонированное оргстекло. Когда-то на нем крепилась крыша. Устраиваюсь вполоборота к мутноватому этому зеркалу. Смотрюсь. Видно плохо. Но в общем и целом ясно: лицо за ночь не посвежело, скулы все так же выпирают, нос длинноват и не имеет строгой формы – ни тебе кавказского гачка, ни греческой костяной выточенности, ни тайной еврейской горбинки. Словом, обыкновенный, бесформенный славянский нос – разве кончик едва заметно загнут книзу.

Отлипнув от оргстекла, припоминаю чужие о себе разговоры: «Какой-то он все-таки непонятный», «Дурня ломает, а видно ведь – парень себе на уме», «Такой худой, жалко даже».

Да, я худ, я страшно худ! И от этого часто хожу, похнюпившись, а кроме того, приобрел отвратительную привычку вдавливать ладонью в темечко вечно торчащую вверх прядь волос. Вот потому-то некоторым моим друзьям-приятелям и кажется – этому миру я не подхожу...

Так оно, скорей всего, и есть!

Нос мой языческий, нос славянский чует одну тоску гниющего воска. Нос втягивает в себя гнусно шипящий карбид и запахи очистных сооружений.

Язык готов навесить оскорбительные ярлыки на все, что вблизи и вдали происходит. Взял бы и откусил его!

Глаза направлены на поиски пороков и несовершенств.

Веки – занавес театральный! Схлопнул их и сразу чувствуешь: мир за веками – широк, велик. А перед внутренним взором – только узость, одна бедность.

Из-за всего этого во мне зреет злость. Из-за всего этого во мне вскипает несказанно прекрасный, но уже слегка и поднадоевший бунт!

Дома, в Москве, бунт всегда удавалось гасить. Иногда гасил сам, иногда со стороны помогали. Но здесь, в городке старинном, городке приречном – никому гасить свой бунт не позволю! Бунтовать так бунтовать!

Только ведь все это враки, что наш русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Может, он когда-то таким и был. Но не теперь. Теперь бунтуют не от бессмыслицы – от переизбытка мыслей и сведений!

Я, к примеру, бунтую потому, что вокруг (и это прямо в последние месяцы) стало что-то много холуев и захребетников. А за плечами холуев престарелых уже вовсю плоскозвучит и гадко кривляется поколение «жесть». Еще дальше – какие-то хипстеры. От них, опять-таки, одно плоскозвучие, даже – плосковоние.

Ни «жестью», ни хипстером быть не хочу! Мне – сорок. И, возможно, я подзадержался в развитии. Но, может, это я потому подзадержался, что непрерывно решал вопрос: выбегать или не выбегать на площадь, бить или не бить фонари у театров?

Тут, конечно, многие притворно вздохнут: как не бунтовать против нынешней власти, как не бунтовать против политики нынешней?

Ждете новых и лучших политиков? А хреном вам по колену! Политики новые всегда хуже предыдущих, а те, что приходят им вслед – ну просто ничтожества! Эти-то властные ничтожества, придя и утвердившись, первым делом выпускают на сцену очередного обделанного с головы до ног «радетеля за народ», и тот, припадочно закатывая глазки, возглашает: «А кто говорил, что будет легко?».

Так что не в политике дело.

Здесь, на скамейке, в городке старинном, малолюдном, я вдруг окончательно понял: наш русский бунт – он не против царизма, троцкизма, андропомании или путинизации! Это бунт против человеческого бессилия. Бунт против непонимания. Бунт возрастной и бунт любовный!

И конечно, это бунт против гадкого, копившегося веками отстоя, который теперь благоговейно называют «здравым смыслом» и который довел многих из нас до ручки, уничтожив походя все великие мысли, идеи.

Ну и на закуску главное.

Русский бунт – это бунт против всего. А значит – бунт против бунта!

И тут мы упираемся рогом в забор и копытом в стойло. И опять все начинаем сначала, а потом плюем от бессилия, блюем от выпивки и тошноты и, проблевавшись, идем горевать в шустрых сиренях, меж толстых пней или слепнувших от воздуха, изранившего их нежно-морщинистую кожу, сахарных канадских кленов...

По земле сквера бегают-прыгают пять воробьев и один голубь.

Я замахиваюсь. Воробьи улетаю.

Но голубь – ушлый, трепаный, давно человеческую любовь к птицам внагляк использующий – тот остается на земле.

И тогда я кончаю бунтовать, тогда с головы до ног окутываюсь смирением и пересаживаюсь со скамейки на низенький бордюр, на обочину дорожки, к голубю поближе.

Голубь дергает шеей, но остается на месте. При этом смотрит на меня косвенно, без сочувствия. Я протягиваю руку. Голубь, семеня лапками, отбегает подальше...

Ветер налегает сильнее.

Вдруг мне начинает казаться: не бунт виноват и не голубь, даже не черт с рогами... Виноват ветер! Да, он!

Это волжский ветер измотал меня в последние дни до краю. Рвет он и путает мысли и уносит их обрывки к мусорным кучам, в сугубо полицейские, отдающие наказуемостью причин и непоправимостью следствий места. А я, как дурак, за эти обрывки цепляюсь, силясь ухватить что-то первостепенное, важное!

Так и сегодня. Все утро под звон и стон гостиничных безобразий меня мучила мысль о неизвестной смерти. Безвестная смерть вдруг предстала порицанием и позорищем.

Безвестная смерть – она мелкая, ленивая, неопрятная! Сперва подступила ко мне в образе сварливой, много о себе понимающей горничной. Но по ходу дела переквалифицировалась в сотрудницу ЖКХ: с поджатыми губами, с противно вихляющейся стальной линейкой в руках, с хамским требованием сей же момент, сей же час освободить кусок жизненного пространства, мною без спросу занимаемого!

Стальную линейку сотрудница подносила к моему носу непозволительно близко, слегка ее оттягивала и с хриплым смешком отпускала. Линейка в воздухе лязгала, нос мой набухал, прежнюю жизнь следовало менять, начинать новую – не было сил...

Что было

Воспоминания – худший вид казни. Это если они окрашены черным.

И сладчайшее из удовольствий. Это когда они окрашены розовым и золотым.

Но сейчас все цвета в моих воспоминаниях перемешались: черный, розовый, золотой. Мешанина, конечно, и в мыслях. Поэтому я стараюсь воспоминания от себя отодвинуть, цель и обстоятельства приезда в приречный город хоть на полчаса забыть...

Внезапно над ухом – голос. Унылое такое мужское сопрано. Или, скорей, высокий тенор. Приятно, что хоть чистый, без хрипа.

– Идемте в кафе, что ль... Так и окоченеть недолго.

Тон голоса понизился, в нем стала копиться энергия, появилась настойчивость:

– Тут близко, рядом... Кофейку выпьем. Хотите, встать помогу?

Подымаю голову.

Восточный человек, но одет по-европейски, притом с иголки. Плаща нет, зато костюм зеленый – зашибись. Кстати, и «восточность», если всмотреться, наполовину стертая.

Почувствовав интерес, «стертый» взбодрился, уныния в голосе как не бывало:

– И совсем не обязательно звать меня Селим Семеныч. Селим, Селимчик, так оно даже приятней. А наши – те вообще зовут меня Симсимиш...

Сели в кафе. Принесли кипятку с морковкой. Наслаждаемся, пьем. Я слегка удивлен, но делаю вид, что все идет как надо. Вдруг:

– Я через полтора часа – тю-тю! Улетаю. Только вы не думайте, что я вас тут в беспомощном состоянии бросаю. Я б вас и в Америку, даже в Австралию с собой взял. Но лучше мы поступим так: месяца через полтора я вернусь, а вы тут пока приглядитесь, что да как...

– Это ж за какие такие грехи меня в Австралию?

– Вы, я вижу, узнавать меня не хотите.

– Я тут в первый раз и по делу. Чего в узнавалки играть? И вообще, нахрена вы меня из сквера выдернули? Ну есть у меня временные трудности. Ну так я скоро их решу...

– Да погодите вы грубить. А насчет временных трудностей... Давайте так: что если я предложу вам для начала... Ну, скажем... Десять тысяч рублей?

Я хмыкнул. Он понял по-своему:

– Хорошо. Двадцать!

Четыре красненькие без промедления легли на стол.

– Вы что, факир?

При слове «факир» Селимчик посерел лицом, а губы его – те и вовсе лиловыми сделались. Кожа на лбу еще сильнее натянулась и стала гладкой, как на африканском ударном инструменте (вот забыл, как он называется)...

Но вскоре Селимчик собрался с духом, улыбнулся и широко развел руками:

– Стараюсь, блин горелый...

По этому «разводящему» жесту я его и вспомнил! И серьезно удивился, почему не вспомнил раньше. Я на память свою не жалуюсь. Я горжусь ею. А тут – прогляпал! Ведь этот Селимчик был на той самой тусовке, после которой я здесь, в приречном городке, и оказался!

На тусовке мы с ним и познакомились.

Вечер московский, вечер дивный, промелькнул передо мной, как слайд-шоу: Тверская, отель «Карлтон», виски «Ригл» двенадцатилетнее, девочки ласковые, неназойливые, по высшему разряду вымуштрованные...

Вечер устроил полуолигарх Ж-о, а пригласил меня на него кореец Пу.

– Вы еще тогда меня от балерины этой... – тут Селимчик с неожиданной застенчивостью и очень даже приятно улыбнулся, – ну от Тюлькиной-Килькиной, всю дорогу оттирали. Так это,

бочком подступите и плечиком молча – тырк! С таким видом, что, мол, не дадим этим хитрым кабардинцам наших русских дам уводить. А какой я кабардинец? И какая Тюлькина дама? Я из Алматы, а она охламонка просто... Верней, – Селимчик нежно, как выдра, сожмурился, – обыкновенная субретка!

Балерина Тюлькина была на том вечере сбоку припека. Но, конечно, я ее запомнил. Запомнил и редкое слово: субретка. Селимчик тихо, чтоб никто не услышал, его и произнес, когда Тюлькина-Килькина, ломая каблуки, от нас к олигархам рванула.

Тюлькина надела на олигархов, а я тогда про Селима еще подумал: работает он в захудалом московском театрике, и скорей всего антрепренером. Причем играют в театрике одни только старинные пьесы, где все эти субретки, фаворитки, слуги двух господ вместе с прочей лаковой шелупонью до сих пор и обретаются.

Подумалось мне и о том, что иногда потехи ради «кабардинца» выпускают на сцену, чтобы он там со страху на пол грохнулся или петуха пустил. А еще лучше – предстал в виде смазливового евнуха, каких нам время от времени являют в чисто немецком зингшпиле «Похищение из сераля»...

Но самое важное, что не давало тот вечер забыть, – это когда полуолигарх Ж-о меня с олигархом настоящим, с гением рынка и ценных бумаг, с хозяином рудников и многокилометровых колбасных цехов – с Куроцапом Саввой Лукичом познакомил.

Страшно не хотел, а познакомил!

Ж-о вообще весь тот вечер только и делал, что ограждал Куроцапа от влияний и посягательств. Ну а я на том вечере, как всегда, пребывал в глубоком тылу. Стоял себе, вполголоса сорил стишками.

У Максима Ж-о был секретарь-кореец Пу. Вот я и стал втихаря рифмами, как железными шарами во рту, погромыхивать:

Перли-терли Жо и Пу.
Пу – расквасил нос клопу,
А его хозяин Жо —
Выглядел, как труп, свежо.
Если сложим слог и слог,
То получим не сапог,
Не «привет», не «гамарджобу»,
А одну большую ...

То, что я стоял отдельно от всех и шевелил губами, многих почему-то раздражало. При этом еще и еще раз – я не какой-то шибздик! Рост у меня пристойный, плечи в общем и целом неплохие, и я с первого удара перебиваю костяшками пальцев – кентосами – шестимиллиметровую доску: тхэк-ван-дой в юности занимался!

Правда, лицо у меня чуть плаксивое, затылок островат и прядь над ним, как тот ковыль в степи, развеивается...

Все это людей от меня при первом знакомстве отталкивает. Может, поэтому я в свои сорок не женат. Но с женитьбой я себя так утешаю: для меня перво-наперво дело. А интрижки с женщинами – так до них просто руки не доходят!

Теперь о деле. Здесь-то как раз собака и зарыта.

Дело мое шаткое, ненадежное!

Сперва был я литературным негром, другими словами, регулярно сочинял за других. А совсем недавно пошел на повышение: предложили выступить в роли титульного редактора. То есть все так же сочинять чужие тексты – но уже обозначать на концевой странице собственное имя: редактор Тимофей Мокруша.

Говорили мне и советовали: «Иди в блогеры, олух! Там бабки, там возможности. Вторым Навальным через год станешь!».

Не пошел.

Что мне Навальный, этот прусак подвальный?

Да и само слово «блогер» мне омерзительным показалось.

Блох хер? Плохер? Герр Блядюкер?

Словом, от блогерства я отказался.

А блогера́ тем временем по штуке баксов в день огребают! А я тут, в приволжском кафе, кипяток с морковкой глотаю!

Тима я, Тима! Тима, Тима я...

Ладно. Опять про тот вечер.

Стою себе в сторонке. Смотрю, как полуолигарх Ж-о (полуолигархом его зовут потому, что на должности своей налогово-контролерской украл он только половину того, что мило-стиво ему позволили провинциальные власти), смотрю, как Ж-о и мой тогдашний работодатель Рогволд Кобылятьев по прозвищу Сивкин-Буркин друг перед другом выставляются, пургу гонят, турусы на колесах разводят!

Ну и дам, конечно, пощипывать не прекращают.

А тут – сегодняшний Селимка! (На том вечере он сильно позамухрышистей выглядел. Это сейчас – косой прибор, усики подстрижены, лысина напояжена. А тогда – ну просто рвань и срань тропическая! Брючки коротковатые, кофта лиловая, вместо галстука – шизоидная бабочка в горошек.)

Так вот. Начал Селимка к Тюлькиной, что-то быстро от олигархов вернувшейся, клинья подбивать. Но Тюлькина на него – ноль внимания. Селимка и отстал. А на его месте какой-то прокурорский в полном костюме правосудия вдруг очутился. В синем фраке, пуговицы аж на самой... Сразу видно, что не промах капитан! Потому как, не раздумывая, даму за бочок – и к туалету поближе.

«Ага, – подумал я тогда про себя, – сейчас самое время нашу русскую удаль явить, несгибаемый дух показать!»

И явил, и показал.

Вынул из портфеля добрый обломок красного кирпича да под нос прокурорскому и сунул.

(Я всегда этот обломок с собой таскаю. Сквозь «рамку» магнитную кирпич без писка проходит, а покажешь где надо – неизгладимое впечатление производит!)

Кирпич, правду сказать, особого впечатления на прокурорского (он приставом налоговым оказался) не произвел.

Но это только на прокурорского и только сперва!

Пока красная крошка с кирпича осыпалась, а пристав-прокурор гордо грудь расправлял, ко мне мой работодатель Рогволд Арнольдович Кобылятьев подступил. Мол, еханий насос и все такое! Как я вообще осмелился! Да меня и взяли сюда, чтобы базар уважаемых людей записывать, а я тут кирпичом машу, его, Рогволда, в идиотское положение ставлю. И вообще надо еще подумать, нужны ли ему, лауреату премии «Нац-Нац», такие, блин, помощнички.

Тут же Рогволд Сивкин-Буркин от меня, как от гриппозно-вирусного, и отвалил. А пристав-прокурор, чтоб дела не раздувать, подхватил Килькину, как пушинку, и куда-то в свои налогово-прокурорские владения унес.

Кстати, про Кобылятьева и про его прозвище. Писатель Сивкин-Буркин – так себе. Многогоречивый, истерико-патетический. Не писатель – писателишка! Но скачет бодро. И на скаку огромные бабки рубит. И некогда ему чем-то другим заниматься. Поэтому в негры меня и пригласил. Поэтому деньги – пусть и скромные, но без задержки – платил.

Росточку в писателишке – не больше полутора метров. Лицо – синий сморчок. Губы узкой полосочкой. Говорит зажатым голосом, как та институтка на клиросе. Ручки – кукольные, игрушечные. Одним словом: недомерок!

И вот, пока я думал, какая же на самом деле погань этот самый Сивкин-Буркин, ко мне неожиданно сам Куроцап подошел!

Он так и представился: Савва, мол, Куроцап. И добавил: давайте по-простому, без отчеств. Савва, и все тут.

Как Савва Лукич на том вечере оказался – уму непостижимо. Не того он полета коршун, чтоб с такими, как Сивкин-Буркин, Килькина, кореец Пу и даже полуолигарх Ж-о, дружбу водить!

Куроцап – олигарх всамделишний. Воротила – первостепенный. Хозяин – на всю страну! Заводы, рудники, шахты. Никель, марганец, титан.

Ну и для души – всякие там ветчинно-рубленые предприятия: овцеводство, яки, верблюдофермы, прочая кожгалантерея. И все это новенькое, передовое, по последнему слову техники оснащенное и упакованное. А потому – доход умножающее, федеральную казну доверху налогами набивающее!

Савва Лукич подошел и сразу меня взбодрил.

– Ты это, – сказал он радостно, – ну, в общем, того... девять-семь... – он с той же радостью, но и с неожиданным вниманием посмотрел мне прямо в глаза, – ну, я хотел сказать, ты кирпичом – славно так! И, главное дело, – неожиданно! Пристав этот сразу в штаны и наделал. Килькину-то он для отводу глаз увел. Не по этому делу он! А ты, я вижу, человек находчивый, раз новое применение кирпичу нашел, раз на вечеринки его в портфеле таскаешь...

Я не без изящества поклонился. А Куроцап продолжил:

– Ну а для веселых и находчивых и работенка всегда сыщется. Приползай ко мне завтра в офис на Смоленку, – он еще раз и опять как-то уж очень внимательно на меня глянул, – да гляди, с утраца мой офис с МИДом не перепутай! Ну шуткую, шуткую. Завтра скажу, в чем дело.

Тут Куроцап зачем-то подошел ко мне вплотную и померился со мной ростом. Росту мы оказались абсолютно одинакового. Куроцап, конечно, помощней, но и я неплох.

После обмера Савва Лукич даже зареготал от радости. Но потом спохватился и как-то совсем по-детски завершил реготанье нежным и одиноким звоночком смеха.

Тут, смотрю, мой Рогволденко, мой писателишка сраный, который четвертый год меня в черном теле держит, шасть – и к нам! С ним полуолигарх Ж-о. Стоят, немеют. На глазах у писателишки – слезы счастья. Крупные, неактерские. А Ж-о руку к сердцу приложил и от сердца ее не отрывает, словно гимн Отечеству исполняют рядом. При этом Рогволденко носом пипочным воздух втягивает и над виском своим голову пальцами наминает: как пить дать, облапошить кого-то собрался!

Оправившись от потрясения (взаправдашний миллиардер ведь рядом!), Рогволденко и говорит:

– А позвольте вам, Савва Лукич, представить моего пресс-секретаря, – (сразу мне повышение вышло). – Он, как и я, на литературно-публицистическом фронте в бой с нашими и вашими врагами недавно вступил...

– Так он уже и без тебя, девять-семь... – Куроцап сделал паузу и от этой паузы стал еще мощней: высокий, квадратный, губы грозные, глаза лукавые, щеки полыхают, как две сахарные свеклы в разрезе, нос длинный, но и хищноватый, с чуть загнутым кончиком, – так он уже сам себя отрекомендовал! Ну разве хозяин, если желает, пусть представит.

Здесь Ж-о расшаркался и наговорил обо мне много лестного. Но Савва его не особо слушал: он дружески хлопнул меня по плечу, а Рогволденку, вроде в шутку, к самой морде кулак поднес. (Прозорливо, ох, прозорливо Савва Лукич поднес его!)

Рогволденек побледнел, как поганка в дождь, а Куроцап медленно, вразвалочку ушел. За Куроцапом рысцой, рысцой полуолигарх Ж-о.

Через минуту Рогволденек, конечно, собрался с мыслями.

– Значит так, – раздул он синенькие свои ноздри. (А ноздри у него действительно синеватые, и весь его пипочный нос – тоже!) – Ровно половину из того, что Савва Лукич тебе предложит, откатай мне.

– А морда не треснет?

– Морда выдержит. – Рогволденек во второй раз за вечер прикоснулся к височно-затылочной части головы. – А не распилим с тобой куроцаповские денежки – можешь собирать манатки и уматывать.

Жил я тогда и впрямь у Рогволденка. И вещички свои – что верно, то верно – держал у него. Да и как не держать было? У него квартира четырехкомнатная, а у меня комната в коммуналке: соседи газом травят, дети чужие глумятся с утра до ночи. И книгу заказную мы тогда с Рогволденком как раз строчили. Вот я к нему с вещичками и перебрался.

Правда, жена у Рогволденка оказалась сварливая. Но она все время на работу ездила. Сын-лоботряс – в продленке до ночи. Сам Рогволденек дома тоже не засиживался: с утра мыслейшек накидает и в Думу или еще куда.

Сижу, бывало, из мыслей его выпутываюсь. А мысли у Рогволденка тяжелые, комковатые. С производственной, да еще и с полуфашистской какой-то начинкой. Она-то, полуфашистская, в первую очередь кобылятьевских читателей и соблазняла, она в первую очередь и продавалась.

Поэтому, когда я про манатки услышал, обычное плаксивое выражение (мышцами ощущать его научился) в лицо мое намертво – как узор в тульский пряник – впечаталось. Куроцап еще и не предложил ничего, а этот, синюшный, уже доходы мои на распил тащит!

Ноги у меня – титановые. Руки – клещи. Но жить по-современному, но откатывать и распиливать я никак не научусь. И от предложений таких – пусть даже полупшепотом сделанных – всегда теряюсь: ноги становятся ватными, руки виснут плетью. Но хуже всего – язык! Тот, наоборот, развязывается и начинает помимо воли нести всякую околесицу.

Что я Рогволденку в те минуты говорил – не помню. Помню только, что ругал его и поносил и на распил ни в какую не соглашался. Но потом выпил бокал «Ригла» и согласился подумать.

После «Ригла» Селимчик мне еще раз и попался. С ним тоже выпили и слегка в туалете повздорили. Но позже помирились. Дальше – смешно вышло. Селимчик спьяну тоже поместился со мной ростом: маленький, толстопузый, он прыгал рядом, как колобок! На том и расстались...

Я встряхнулся.

Воспоминания о Москве пролетели миготом. И так эти воспоминания меня захватили, что на Селимчиковы слова я острозатылочной своей головой только кивал, а ничего из того, что говорил он, не слышал. Даже кипяток с морковкой глотать перестал. Все вспоминал и вспоминал.

Савва Урываи Алтынник

На следующее – после олигархической тусни – утро ломило виски и дрожали пальцы.

Слава богу, Савва Лукич – офис его был с каким-то смутным дипломатическим прошлым, и табличка про наркома Чичерина, кажется, там была – принял меня сразу.

Оценив состояние – налил. С восторгом ощущая бульканье водочки в пищеводе и даже словно бы наблюдая ее сияние в верхних отделах желудка, – начало разговора я как-то упустил.

Однако середина и конец той московской беседы здесь, в приволжском кафе, вспоминались ясно, четко.

Я сидел в кресле, а Куроцап ходил от окон к двери, мимо громадного, без конца и края стола. На столе высилась одиноко бутылка «Абсолюта» и лежала генеральская мерлушковая папаха с алым верхом. Занюхивать новой папашой было неудобно, и я время от времени подносил к носу кулак, пахнувший порошком из кобылятьевского принтера.

– ...и все-то вроде мы про нее знаем, – говорил с выражением Савва, – а вот чего-то главного и не знаем, нет! А ведь она, девять-семь, великолепна, она в своем роде – неповторима. Куда лучше закордонных! Да и многих отечественных получше... Понимаешь? Как балерина она в сметане! Ну, то есть, я хотел сказать – ножки у балерины по шиколотку, даже по колени черные, загорелые. И мордочка тоже темная... А сама... Сама балерина – не в материи белой, а в жирненькой смачной сметане. Или, точнее, в сероватом йогурте: от бедра и по горлышко.... Вот она какая! А мы – не ценим. Мы три шкуры с нее драть готовы. А все почему? Потому что слишком сухо, педантически, ну, в общем... Ты же грамотный человек, понимаешь... Словом, слишком научнообразно про нее думаем! А она – слабенькая! Они все – слап-п... – тут Савва Лукич заглотнул слишком большую порцию воздуха и, захлебнувшись, на минуту стих.

Постепенно я сообразил: речь идет о неведомых людях, накрепко, как Робинзон с козой, связанных с некими домашними животными – загадочными, прекрасными и, без всяких сомнений, отечественными.

– А она, а они... Ну, в общем, когда ты их узнаешь получше, тогда и поймешь, тогда и напишешь настоящую книгу. Но учти! – Савва погрозил мне кулаком, – автором книги буду я. Потому как книга необычная будет. Я ведь и сам необычный. Но и ты, гляжу, не промах... Кирпич принес?

Я с готовностью полез в портфель.

– Верю, верю, – засмеялся Куроцап, – и вот поскольку ты такой, какой ты есть, будешь у меня, как это называется... титульным редактором! Жизнь и судьбу ихнюю на весь мир прославишь! Ну? Лады?

– Кончено, лады... Только, Савва Лукич...

– Просто Савва. Я в некотором роде как Морозов. Или даже как Мамонтов. Новый народный капиталист я! Точней – капитал-разведчик. А не какой-то там урываи алтынник... А скажи-ка мне, дружок, – вдруг переменял он тему, – тебе сколько годков от роду?

– Сорок восемь, – соврал я, прибавив себе зачем-то целых семь с половиной лет.

Савва потускнел и смолк.

Я откашлялся.

– Так вы, уважаемый Савва, мне поясните: о какой группе лиц, или, точнее, о какой страте (решил блеснуть я итальянщиной и блеснул удачно: глаза Куроцаповы сочувственно округлились) пойдет речь в нашей книге?

– Неужто сорок восемь? А видом – так сильно моложе.

Я скромно пожал плечами: мол, что имеем, то имеем.

– Ладно, – вдруг улыбнулся Савва, – врать ты, кажется, тоже здоров. И про страту верно сказал... Наше, славянское слово! Старинное. Стратил, истратил, казнил... Их ведь тоже вчистую почти уничтожили... В загонах да за колючей проволокой при Советах держали!

– А вот про лагеря, Савва Лукич, – даже не просите! Сил моих больше нет. Столько книг про лагеря уже настрочил. У нас теперь что ни писун, то лагерник! Вроде люди как люди, а как заведутся, как начнут лишения свои расхваливать... И, главное, не скрывают ведь, что бандосы! А политическую подкладку к несчастьям своим давним и нынешним подшивают и подшивают...

Савва задумчиво глянул на окна. Я его движение повторил.

Смоленская площадь глянула на нас в ответ с удивлением, но и с интересом немалым.

– Да, правильно ты сказал. Они – как люди! Даже лучше людей! А вокруг них наши отечественные волки-заготовители рыщут: жадные, клыкастые... А у тех... И душа у них лучше, и задница чище. Только что мы с тобой об их личной жизни, об их любви, об их заботах знаем? Да ни хренашечки. Ты вот сейчас думаешь: она побежала, хвостиком вильнула, Куроцап на крючок и попался. Шиш тебе! Чтобы такую нежную шерсть на себе взрастить...

Я украдкой глянул на Савву: шерсть из-под расстегнутого ворота черной его рубахи торчала недлинная и на вид жестковатая.

Савва взгляда моего не заметил.

– Чтоб, говорю, шерсть такую романовскую на себе взрастить, нужно хрен знает кем внутри себя быть.

Савва снова пошел к окнам, а я, наконец, догадался: речь в новой книге пойдет не о людях, об овцах!

– Ты думаешь, у них в голове только гулеж и ветер?

Я испугался: Куроцап внезапно заговорил со слезой в голосе и, вернувшись к столу, часто, как девушка, заморгал.

Ресницы у Лукича были светленькие, брови темно-русые, бобрик на голове серо-соломенный. И весь он, с едва курчавящейся крохотной бородкой, мощным кадыком и каменными лепными веками, напомнил вдруг бога виноградников Диониса. Но Диониса нашего, русского, вытесанного из уральско-сибирского камня, пьющего по утрам огуречный рассол, занюхивающего каждый второй шкалик тертой редькой. В юности мне самому таким быть хотелось...

– А вот и не ветер! – ответил Савва самому себе. – Много чего у них в голове есть – только мы про то не знаем. Не знаем, какая у этих лучших в мире овец жизнь, какие семейные ценности...

– Какие же, Савва Лукич, могут быть семейные ценности у овец?

– Вот! И ты туда же. Да пойми ты, дурья башка: у них есть все то, что и у нас! И даже больше... Вот ты туда за Ярославль, в город Царево-Романов и езжай. И книгу мне про романовскую овцу через три месяца, будь любезен, в чистовике представь. Командирую я тебя туда, понял?

– Чего уж понятней.

– Только ты мне книгу с историями напиши! С любовью, с приключениями и всем таким прочим.

– С приключениями овец?

– Конечно! Людские-то приключения – кого они теперь, по большому счету, интересуют? А овца, брат, она, как поросенок на веревочке! Даже лучше: бежит за тобой, в развитии догоняет! Ты ею любишься и про жизнь овечью с человеческой страстью почитываешь! А прекрасней всего, если ты мне историю одной отдельно взятой овцы напишешь. Но не про какую-то Долли! Про нашу Лидку, про нашу Маньку. Про всю ее судьбу! Даже про шкуру, положенную на алтарь...

Савва наверняка хотел сказать: «На алтарь отечества», но вовремя поперхнулся.

– В общем, про судьбу и жизнь, отданную за наши с тобой удобства, напиши. Три месяца не хватит – дам четыре. Через полгода сигнал, потом тираж, потом этот... гонорар.

Мысли Саввины про овец мне внезапно стали нравиться. Сам Лукич – после некоторых колебаний – тоже.

– А тогда, может, аванс, Савва Лукич?

– Ты Куроцапа не знаешь? В Романов приедешь, я туда через банк переведу. У меня бухгалтерия чистая. Никаких серых схем, ничего из рук в руки. Никаких откатов, никогда, никому!

Савва завелся, и я отступил. И, как оказалось, зря. Но в тот момент мне стало не до аванса, потому что Савва во всю глотку гаркнул:

– Надюх, а Надюх! Яви породу! Р-романовскую нам представь!

С легким презрением всеми отвергнутого художника я ждал: сейчас сюда, на Смоленку, прямо под наружные камеры МИДа приволокут упирающуюся, но в своем упорстве, конечно же, и прекрасную романовскую овцу.

Но вошла стройная деваха в серо-серебристой шубе на голое тело.

Какое-то белье под шубой, как потом выяснилось, все-таки было, но в количествах небольших.

– Ты, Надюх, повернись бочком, а потом приляг на шубу... Пускай писатель (я обмер сердцем, в первый раз так назвали!) на результат глянет. Глянет на то, что мы в итоге – после употребления любящей и мыслящей овцы – имеем.

Я думал, Савва заревет в голос. Однако, глядя, как Надюха, постелив шубу на пол, ложится, он, наоборот, развеселился:

– *Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим папараццио!* – обратился он уже ко мне лично и от души захохотал, тыча пальцем в женское белье. От хохочущего Саввы я отшатнулся и перевел взгляд на Надюху.

Тем временем Савва наклонился, Савва стал шубу шупать и мять и кончил тем, что, столкнув с романовского чуда Надюху, сам улегся туда на короткое время.

Было видно: Надюха интересуется Савву постольку поскольку. Это было неожиданно и вселяло надежды. Поэтому вскочившей на ноги Надюхе решился я подмигнуть. Надюха – не заметила. Она, широко раскрыв рот, вслушивалась в слова, слетавшие с куроцаповского языка.

– Весу в ней четыре фунта! – кричал Савва, поднимая шубу с паркета. – А греет, как четыре стакана! Как пять стаканов... Как шесть!..

Тут Куроцап звонко ляснул себя ладонью по лбу, шубу бросил на стол, Надюху отослал, подступил ко мне вплотную и сказал:

– Дам-ка я тебе «жучок». Для связи. И для записи твоих размышлений. Он двадцать пять тысяч стоит. Такая, Тима, спецтехника! Я по случаю прикупил. А навесить не на кого. И у тебя со мной связь будет. Вот, бери. Раньше у нас только ФСБ и МВД «жучками» пользовались. Теперь – каждый может. И учти! Не только правительство нас слушает – мы его тоже слушаем. Сечешь?

Я замялся. Савва понял по-своему.

– Что? Думаешь, нагреет Куроцап? Думаешь, мне для тебя настоящего «жучка» жалко? Думаешь, заваль предлагаю? Вот, гляди!

Савва проворно кинулся к шкафу, вынул оттуда красную, плоскую, размером со школьную тетрадь коробочку.

– Видишь? Комплект же! «Жучки» и экраны к ним. Один маячок-жучок – р-раз! – сюда прикрепляю (он наколот себе на грудь какую-то английскую булавку с серой каплей вместо головки). – Другой – тебе! А чтоб комплект не разбивать – вот! Возьми и оставшиеся два. На двух лучших овец навесишь. Запишешь, как они там блеют-млеют.

– Может, с «жучками», Савва Лукич, лучше не связываться?

– Свяжемся, обязательно свяжемся! Ты только не включай их раньше времени. А так это... через неделю. Я сейчас на своем жучке таймер поставлю... А теперь вали поскорей отседа. Христом богом тебя прошу! – Савва хитро склонил голову влево и вдруг выставил перед собой руки, как суслик лапки: локти согнуты, кисти вниз свисают. – Дел у меня: до утра не спроворить!..

«Музей овцы»

И вот теперь, сидя в кафе против Селимчика, глотал я кипяток с морковкой и думал: какой же я обалдуй!

Обалдуй и остолоп, потому что на следующий же день после разговора с Куроцапом от Рогволденка съехал. Увез свой комп, увез тележку с вещами и, заперев накрепко дверь коммуналки, двинул в городок Романов...

Денег Савва не перевел ни через сутки, ни через трое.

В «Музее романовской овцы» со мной ласково поговорили, но никаких эксклюзивных материалов, повествующих о жизни этих энергичных черноголовых и белопузых домашних животных не предоставили. Я стал звонить по очереди всем секретарям Саввы Лукича, и, конечно, в первую очередь Надюхе.

Через пять дней стало ясно: Куроцап от романовской овцы отказался навсегда, навек.

– Савва Лукич наткнулся на новую, более перспективную мысль, – томно ворковала, видно вспоминая показ романовской шубы, с трудом разысканная Надюха. – Это такая интересная тема! Жизнь огородных растений. Представляете? Редька, лук, патиссоны, чеснок! Как они в огороде нашем эволюционировали. Как сопутствовали российскому гражданину в его жизни. Савва Лукич хочет, чтобы на обложке так и значилось...

– Савелий Куроцап. «Русский хрен», – подсказал я.

Надюха сперва в трубку хрюкнула, но потом стала серьезней:

– Чувствуется, что вы хорошо над романовской овцой поработали. Вникли в тему. А за Савелия – спасибо. Это для обложки даже лучше, чем Савва... Спрашиваете, как вам быть? Ей-богу, ума не приложу. Лукич сейчас в Шри-Ланке. Пробудет месяца полтора-два. Чайные плантации, сами понимаете. Но как вернется – обязательно заходите. Савва Лукич так и сказал: как Тима появится – сразу его ко мне!

– И что тогда? Чайные листочки к проблемным местам прикладывать будем?

– Это уж как получится. Но вы должны знать: Савва Лукич – щедрая душа. И в свое время заплатит вам обязательно...

Надюха отключилась, но я снова набрал ее:

– А это кто ж ему про русский хрен писать будет? – не своим голосом крикнул я в трубку.

– Для такой книги писатель с университетским образованием требуется. А у вас, извините... только Литинститут. Кстати, писатель с образованием не без труда, но нашелся.

– Кобылятьев? Рогволд?! – заорал я, брызгая слюной и злобой.

Две-три сороки, сидевшие на ветвях близ гостиничного дворика, плавно, как детские самолетики, взлетели, но тут же в кустах и приземлились...

– Да, это Рогволд Арнольдович, – чуть удивясь, сказала Надюха.

– Так ведь он пэтэушник, сволочь! – застонал я в голос.

Но к стонам моим Надюха не прислушалась, лишь добавила снисходительно:

– Так что босс благодарит вас и все такое прочее. А также Савва Лукич дорит вам шубу.

Она, зараза, так и сказала: «Дорит»!

– Ну ту самую... которую вы на мне видали, – Надюха приятно засмеялась. – Так что возвращайтесь в Москву, получайте шубу, и удачи вам!

– А деньги?! – крикнул я опять, как дурак.

– Денег на вас... – Надюха умышленно громко прошелестела в трубке какими-то бумагами... – Денег на вас, увы, не отпущено.

Я вдавил красную кнопку в мобильник так, что отпала задняя крышка. Белый свет померк у меня перед глазами...

Это что ж? Не солоно хлебавши назад в Москву?

Невозможно! Двум-трем приятелям и одной прелестной оторве я успел объявить о шикарном заказе, о том, что уйду из литнегров, что передо мной – пусть пока и соавторство, но очень, очень перспективное...

Словом, заявляться в Москву ровно через пять дней, да еще обделанным с головы до пят не хотелось.

Рогволденек к себе, ясное дело, теперь не пустит: ухватился за Куроцапа намертво. Какие там пахнущие бытовым фашизмом романы! Русский хрен и цейлонский чай, во всех своих дымках и ароматах, витали сейчас над головой этого недомерка...

Можно было, конечно, отсидеться месяц-другой у себя в коммуналке. Однако и тут – черт за язык дернул!

В коммуналке на улице Сайкина, близ издыхающего ЗИЛа я, пугая соседей, объявил: через месяц продаю комнату кавказцам и покидаю их волчье логово навсегда.

Соседи на полдня утихомирились. Затихли даже их сопливые дети.

И вот теперь надо было на улицу Сайкина возвращаться, надо было снова вылавливать плевки из кастрюли.

Красная пелена бунта, жестокого и кровавого, стала заволакивать края моего внутреннего пространства!..

Но как-то так вышло, что именно после разговора с Надюхой, я, чуть успокоившись, впервые как следует осмотрелся.

Городок Романов был прекрасен и был пугливо чист! Он раскинулся сразу по двум берегам Волги. Одна сторона называлась Романовской, другая Борисоглебской. И пусть моста через реку в городке пока не было – внизу медленно и величественно сам себя двигал паром, катера и лодки бойко перевозили пассажиров через Волгу туда и обратно.

Вид городка, с мягко очерченными колокольнями, хорошо очищенными луковицами куполов и бойко сияющими крестами, с кое-где сиротскими, а кое-где вполне пристойными домами, бунт мой на время смирил, но добавил плаксивой мути.

Вдруг с севера налетел ветер. Мути поубавилось. Но ветер быстро стих. Хотя как-то нечужо – так мне тогда показалось – продолжал в городе присутствовать...

Растерзанный бесчувственной Надюхой, побрел я наобум. И вскоре очутился на безлюдных, круто спадающих к Волге улочках.

Навстречу попался белокурый паренек. Он гнал перед собой двух тщедушных овец. А в руках вместо хворостины держал логарифмическую линейку. Даже моего, не искушенного в животноводстве взгляда было достаточно: не романовских овец паренек гонит!

– На пропитание овечкам... сделайте милость, – пропел белокурый.

С отвращением обминув паренька с его овцами, я все же обернулся и с грубой прямоотой спросил:

– Это ведь не романовские? Не романовские, говорю, овцы?

– Да, не романовские, – простосердечно ответил белокурый.

– А чего ж тогда просишь?

– Божьи твари ведь.

– Больше десяти рублей не дам.

– И за это – огромное вам спасибо...

Через день в гостинице с меня потребовали денег. Я обещал заплатить через неделю. Великодушно прождав еще два дня, меня выставили вон. Но вещи, как уже говорилось, решили у себя попридержать.

И тут – Селимчик. И нескончаемый кипяток с морковкой, который мой собеседник с трепетом в голосе называет «кофэ»...

Все это время Селим Симсими́ч с тихим умилением и непонятной радостью наблюдал, как я предаюсь воспоминаниям. Он не только не мешал мне, но, казалось, делал все, чтобы я длил и длил свои мутные грезы.

– Ну хватит жрать, – сказал я резко. – Спасибо за кипяток и скажите, чего вам надо. Денег ведь даром теперь никто не дает. И не рассчитывайте, что я вам их сейчас же верну. Мне за гостиницу платить надо.

– Так это – мигом... Секунду, минутку!

Круглый Селимчик выкатился из-за стола и как-то очень быстро, словно не веря, что я его дождусь, вернулся:

– Гостиницу оплатил. За месяц вперед. И не вашу, деревянненькую! Приличная гостиница, скажу вам. «Князь Роман» называется... Я честное и почетное дело предложить хочу, – вдруг понизил он голос, – и как раз по вашему профилю. Сегодня утром к вам за этим и шел. И вчера наблюдал за вами. Вы из гостиницы вышли и сразу воробьев на асфальте считать начали.

– Если вы про птичек, то пусть вам китайцы пишат! Про то, как они этих самых воробьев всех до единого слопали.

– Какие воробьи! Клянусь предками: приятная работа, хорошая. Я, если хотите знать, организатор науки... По научной линии вас двинуть и хотим.

– У меня нет университетского образования, – вспомнив куроцаповскую Надюху, буркнул я с ненавистью.

– И не надо! Бог с ним, с университетским! Вашего образования, думаю, вполне достаточно будет. Сперва регистратором, а потом прогнозистом погоды у нас поработаете. Космической погоды, между прочим...

«Значит, опыты на мне будут ставить», – подумал я, а вслух сказал:

– Я вам не термометр. А вы – не японец, чтоб в задницу меня совать!

Сказал, встал, нехотя полез в карман за красненькими.

Тут Селимка вздохнул, достал кредитную карточку и, слегка кривясь от горечи собственного поступка, ее мне подал.

– Забыл сказать: мне профессор Дежкин про вас рассказывал. Вы ведь после Литинститута еще в Институте журналистики учились?

Очеркист Дежкин был единственным профессором, которого я в Москве уважал. Это, наверное, отразилось на моем лице. Селимчик, воодушеваясь, продолжил:

– Здесь зарплата за три месяца. Контрольное слово – «ветер». Пин-код – 5050. Только директору Коле про карточку не говорите. А тем более Дросселю нашему засушенному! Может, они вам из своих подкинут.

Я схватил кредитку, сунул ее в карман и снова сел, изобразив на лице живейшую готовность и дальше слушать всякую белиберду про директора Колю и засушенного Дросселя...

Но теперь встал Селимка.

– Я в Шереметьево опаздываю. А вы отсюда прямиком на Вторую Овражную. Тут рядом: направо и вниз. Дом номер шесть, на вывеске – «Ромэфир». Калитка не заперта, через сад и наверх. Скажете директору Коле, что со мной обо всем договорились. Он вас ласково, он вас нежнейше примет...

– Он что, слаборазвитый, ваш Коля, – попытался сострить я напоследок.

– Нет, развит он прилично... А давайте я еще записку для него нацарапаю. Только прошу, – Селимчик зачем-то оглянулся, – вы по дороге про «Ромэфир» особо не спрашивайте. И про новую работу в Москву пока не сообщайте.

– Что еще за скрытность такая?

– Коля скажет. Но будьте уверены: у нас никакого криминала. Мы – «Роскосмос»! Бывший, конечно, «Роскосмос», но все-таки... А Коле на всякий случай скажите, что когда-то в

статистическом бюро работали. А сюда приехали, чтобы уйти от столичных склок. Ну, я Коле из Шереметьева еще позвоню, расскажу в деталях...

– Что я вам, пес – брехать про статистику? Я сюда, между прочим, книгу писать приехал...

– Знаю-знаю. Про романовскую овцу.

Здесь я удивился уже по-настоящему. Надюха растрепала? Куроцап предупредил? Но Савва Лукич страшно далек от таких мелочей, да и от людей вроде Селимчика тоже... Сами узнали? От кого, зачем?

– ...А только на кой ляд вам эти овцы?

Селимка на мгновение забыл, что он тупой азиат, а не ярославский бурлак, и от сладости старинного слова «ляд» даже зажмурился.

– А хочется – и все!

– Овцы с баранами и без вас шерсть нарастят. А у нас в «Ромэфире» – потрясающее научное открытие зреет. Под будущее это открытие я сейчас по Европам и Америкам денежки собирать и еду. А вы... Вы просто обязаны нам помочь!

– Как же я помогу, когда сам гол как сокол? Ни кола, ни двора, ни мохнатой лапы в министерстве...

– Так это временно, временно! Все у вас будет. И копеечка заведется. Ну, мне пора... Вернусь – все по местам расставим. Только дождитесь меня!

Селимчик сунул мне в руку сложенную вдвое записку и, помахивая изящной велосипедной сумочкой, которую в народе грубо и безосновательно зовут «пидораской», удалился.

Вторая Овражья

Ветер осени, безобразивший три дня подряд, внезапно стих.

Наслаждаясь безветрием, я минут через десять уже входил в дом на Второй Овражьей.

Дом, как и гостиница, был двухэтажно-деревянный, но с мансардой и наличниками по второму этажу. Особенность дома была в том, что на нем крепились сразу три спутниковые антенны. Кроме того, он был глубоко задвинут в яблоневый, еще не пожелтевший, а вполне себе зеленый сад.

Никакой охраны на входе не было, вместо нее стоял, согнувшись в три погибели, деревянный сатир с обломанным рогом, лицемерной мордой и выполненный почти в натуральную величину.

Директор Коля принял даже ласковей, чем обещал Селимчик. Все благоприствало началу нового витка трудовой деятельности. Сунув нос в Селимову записку, в которой было всего два слова: «Возьми его» (по дороге прочел, не удержался), Коля тут же, без проволочек, принял меня на работу, причем сразу старшим научным сотрудником.

– У вас что – с кадрами тугезно? – поинтересовался я.

– В смысле – together? Да, слабовато у нас с кадрами, – признался Коля и подул поочередно на пальцы обеих рук, словно пытаюсь сбить с них дыханием невидимые чернильные капли.

Мне показалось, Коля врет, и я рубанул прямо:

– Вы меня тут, случайно, не расчленишь собрались?

– Ну зачем же так! К расчлененке мы отношения не имеем. У нас – научно-производственный комплекс, и работаем мы с чистыми, я бы даже сказал, с возвышенными материями! Просто уж очень вы Селим Семенычу приглянулись.

Легонький как былинка директор вскочил и, подойдя к одному из трех узких и высоких окон, поманил пальцем к себе.

Я подошел. Коля указал куда-то вдаль, за Волгу.

– Видите, как летит ветер? – спросил он заговорщицки.

Я пожал плечами:

– И видеть не вижу и слышать не слышу. Окно-то у вас закрыто!

Я потянулся к створкам. Пора было глотнуть свежего воздуха.

– Не открывайте окно! – Коля удержал мою руку. – Вы должны научиться видеть ветер. Это как раз и будет вашей основной обязанностью, помимо всяких там замеров и регистраций. Видеть не только, как ветер гнет деревья! Видеть саму материю ветра, сам его поток... Конечно, у вас будут приборы. И приборы новейшие. Здесь Трифон Петрович постарался, – Коля уважительно глянул на дверь, – но надо учиться и глазом засекать ветер. Нам необходима тройная фиксация – приборами, компьютером, глазом. Глазом, прибором, компьютером!.. Хотя, честно сказать, глазом – старо, ненаучно. Но Трифон Петрович, как ребенок, за глаз держится.

Коля выдал мне еще один аванс, поскромнее. (Селимчик, как и обещал, не разболтал про кредитку, я тем более.) Тут же директор сообщил, что за гостиницу уже заплачено, и разрешил пойти прогуляться по городу, пока он здесь расслабит один старый и ржавый моток проволоки.

– Вы только не подумайте, что мы к вам, старикам, что-то дурное имеем, – ласково улыбнулся Коля и выпроводил меня вон.

Когда через час, после двух соток вискаря, я вернулся в двухэтажный яблоневый дом – в кабинете у Коли сидела молодая, влекущая к неостановимым телесным контактам женщина. Волосы ее каштановые улеглись волнами на плечи, раскосые глаза смотрели хищно и смело. Чуть несоразмерное лицо – одна щека больше другой и подбородок слегка съехал на сторону

– было матово-бледным, но было и прекрасным, на груди сияла громадная брошь, на пальцах – пять или шесть серебряных колец.

Женщина сидела лицом к двери, и директор Коля, все никак не желавший отлипнуть от окон, вынужден был стоять к ней вполоборота.

Это Колю тяготило.

– Все, хватит! – вдруг решился директор. – В Пшеничище поеду я сам. А ты, Леля, введи нового сотрудника в тонкости нашего дела.

– В Пшеничище уже выехали.

– Кто? Когда?

– Трифон. Четверть часа назад.

– Как? А я? Я же просил его... Как выехал?

– А так. На байке своим драном выехал.

– Неслыханно! Непостижимо!

Коля кинулся к двери, по дороге споткнулся о стул, чертыхаясь, помял колено, Леля крикнула: «Стоять, хам!» – и густо, не по-женски заржала. Директор Коля послушно остановился и с озабоченным видом стал ждать, что еще скажет Леля, чтобы немедленно бежать дальше.

Леля, отсмеявшись, и сказала. При этом всякая веселость из голоса ее исчезла, а уважения к постороннему человеку (то есть ко мне) не проглянуло и на йоту.

– Я требую покончить с кустарщиной раз и навсегда! Развели верхоглядство в Пшеничище. У вас там не станция – изба-читальня. И вообще: зачем тебе, Коля, давить сачка в Пшеничище, если там его уже давит Трифон? Старые подшивки переворачивать будете? За бабочками вместе гонять? И главное: зачем тебе, Коля, новый сотрудник, если есть я, есть Женчик с Ниточкой? Зачем последние деньги тратить? Вы с Трифоном живете в девятнадцатом веке. Но я там жить не желаю. Ты, Коля, – лайдак! А Трифон от всех нас просто устал... И... У него же нет больше идей! Только одна: плевать в воду и круги на воде разглядывать.

– Леля! – директор Коля молитвенно сложил руки, но глянул, скосив глаза, не на Лелю, а куда-то в сторону. Может, как раз туда, где, преодолевая трудности дорог, мчал в подозрительное Пшеничище усталый Трифон.

– Что – Леля? Я для всех вас кто? Питерская верховодка без московской протекции. Но вы с Трифоном не только меня презираете! Вы ведь и над Альберт Альбертычем насмехаетесь! Да-да, молодой человек, – язвительная Леля обратилась уже прямо ко мне. – Они Эйнштейну не верят! А ведь Альберт Альбертыч раз и навсегда доказал: никакого эфира в природе нет!

– Леля! Отца Альберта Эйнштейна звали...

– Я знаю, как звали отца Эйнштейна и его мац-ць! – взвизгнула Леля и после визга чудесным образом преобразилась, словно изо рта у нее (а может, и откуда-то из глубин живота) бодро выпрыгнул и, шлепая босыми ступнями по линолеуму, ломанулся куда-то вдаль хитрый и наглый бесенок. – Но бог с ним, с Альбертиком. Я не против него. Но и не за. Я против дедовских способов работы. С ними пора кончать. И если вы не кончите – я сделаю так, что лавочку нашу прикроют.

– После трех с половиной лет работы – и вдруг такие слова! Да еще при новом сотруднике...

– Не вдруг, не вдруг... Но ты успокойся, Колюнь. Сам ведь недавно говорил Трифону: нечего в словах у Лелищи смысла искать!

– Ищи ветра в поле... Моя фамилия Дроссель, – скрипнул, как дверь, останавливаясь на пороге, высокий костистый старик. – Кузьма Кузьмич, – сухо кивнул он и поправил большим пальцем круглые железные очки на носу. – Вы на наши склоки, молодой человек, внимания не тратьте. А идемте-ка лучше со мной. Надо поближе с вашей биографией познакомиться...

Дроссель пропустил меня вперед и, как показалось, умышленно не затворил за собой дверь, чтобы я слышал, как орет взволнованный Коля, как отвечает ему внезапно успокоившаяся Леля.

А слышно было превосходно.

– Лёлипутка ты наша бесценная! – кричал директор. – Пойми же наконец! Эйнштейн – бесконечно, вселенски заблуждался. Но даже он признавал... Ты не можешь не помнить его слов: «Если есть эфир, то моей общей теории относительности просто быть не может». Великий, несравненный ученый! Небывалый критик своего собственного учения! Не то что наши тупари... Они-то все и портят: «Как неверна? Разве может быть неверна великая теория? Не может быть, чтобы Эйнштейн ошибался, потому что он не мог ошибаться никогда!» Но ведь Эйнштейн в своем последнем постулате написал: «Пространство без эфира немыслимо, и поскольку моя общая теория...».

– А она твоя, Колюнь?

– «...и поскольку моя общая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами»!.. Понимаешь, дура? Фи-зи-чес-кими!

– Хам и лайдак, – уже ласковой отвечала Леля директору. – И прохвост к тому же! Все вы здесь – прохвосты! И ты, и Трифон, и ваш Сухо-Дроссель. И этот новый сотрудник тоже, скорей всего, прохвост. Нечего сказать: пятидесятилетнего юношу в «Ромэфир» приволокли!

– Леля! Ты – совсем? Мы с Селимчиком такого человека три года искали!

– Да? Это что-то новое. Расскажи поподробней. Но что бы ты ни врал, все вы глупцы и прохвосты! От вас пахнет глупостью Майкельсона и Морли! И только из сострадания к твоей глупости я, Коля, тебя сейчас поцелую...

Я догнал Дросселя у дверей его кабинета.

А уже через полчаса, вместе с директором Колей и веселой Лелей, нехотя плелся в лабораторию, на свое рабочее место.

Со Второй Овражьей улицы мы перебрались на Первую.

К запаху майкельсоновской глупости примешивался запах поздно скошенного бурьяна.

Впереди, метрах в пятнадцати, скачущей походкой поспешал директор Коля с карповым подсаком в руке.

Туфли у Коли были голубенькие, матерчатые, с черными кожаными нащепками и загибающимися кверху носами. Подсак треугольный, пиджак коротюсенький. Цирк, да и только!

За Колей тащились мы с Лелей.

Леля оказалась занятой собеседницей. Сперва она попыталась уточнить, сколько мне лет, потом попросила рассказать, сколько раз и на ком именно я был женат.

Пришлось сказать правду: не был ни разу. Я думал, эти слова вдохновят Лелю на какую-нибудь незапланированную нежность, но она только буркнула: «Значит, и не женитесь» – и ринулась догонять Колю.

Мы как раз огибали пламенеющий золотом храм, когда Леля вдруг вернулась и, округлив милые кошачьи глазки с вертикальными черточками вместо зрачков, сказала:

– Мы все здесь концы отдать можем. Эксперименты наши смертельно опасны! И это – уже не шутка.

Сарказма в Лелином голосе я на этот раз и впрямь не уловил, и поэтому стал вертеть головой по сторонам, а потом часто-часто задышал носом, словно бы вынюхивая в воздухе опасность и риск.

Ничего не вынюхав, спросил:

– Так чего ж вы во все колокола не бьете? Чего наверх, в Москву, в Питер, не семафорите?

– А мне интересно, как мы все здесь – и теперь уже в обнимку с вами – подышать будем!

Я, кстати, так и не поняла: почему взяли именно вас? Тут что-то кроется...

Я приостановился. Леля дружески рассмеялась.

– Идемте же! – Она подхватила меня под руку. – Вы так и не сказали: сколько вам лет?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.